

The poster features a man and a woman in a dark, gothic setting. The man, in the foreground, has a somber expression and wears a dark coat with a large cross pendant. The woman, in the background, looks down with a sad expression. The background shows a dark church with spires and a graveyard with crosses. The overall mood is dark and mysterious.

Илья Юров

ПАСТОР НОЧИ

ПЕПЕЛ МАРЬИ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР • ДЕТЕКТИВ
ГОТИЧЕСКАЯ ДРАМА

Илья Юров

Пастор ночи

<https://litres.ru/74253714>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Не всякая тварь страшна, Миша.

Страшен тот, кто решает, кому носить это имя».

«Имя, записанное чужой рукой, перестаёт быть твоим.

Имя, отданное по своей воле, — это уже подарок».

Содержание

Содержание

6

Конец ознакомительного фрагмента.

48

Илья Юров

Пастор ночи

Илья Юров

ПАСТОР НОЧИ

Пепел Марьи

Романтический триллер. Готический детектив
Приквел к роману «Ходящие вдвоём»

Действующие лица

Михаил — молодой пастор, присланный в Тирнейм; впоследствии — Пастор Ночи.

Марья — его жена, травница и целительница; видит то, чего не хотят видеть другие.

Илона Вереш — хозяйка поместья над деревней, наследница древнего и тёмного рода.

Пётр Салкай — приходской писарь по прозвищу Тихий; ведёт списки для дома Вереш.

Ярах — вожак лесной стаи, известный деревне как Серый Король.

Лука Ставр — староста Тирнейма.

Дамьян Ковач — деревенский кузнец.

Мирон Жерновой — мельник, отец Анки.

Ружа — его жена, мать Анки.

Ханна — вдова по прозвищу Волчиха, первая среди обвинителей.

Домна Быльница — деревенская повитуха и травница, учительница Марьи.

Онисия — слепая старуха, помнящая старые тайны поместья.

Савко — мальчик-сирота, позже — звонарь при церкви.

Савина — деревенская девочка.

Рада — служанка в поместье Вереш.

Верица — пленница в подвале поместья.

Анка, Елена, Каталина — девушки Тирнейма, погибшие или пострадавшие в ходе событий.

Хор («сшитый») — существо, обитающее в болотах; тень, отброшенная на будущее.

Содержание

Глава 1. Новая паства

Глава 2. Девушка у ручья. Травка под языком

Глава 3. Дом вдовы Вереш

Глава 4. Серый след

Глава 5. Вторая пропавшая

Глава 6. Писарь

Глава 7. Крест с чёрной сердцевинкой. Третье тело

Глава 8. Подвал поместья. Исповедь без отпущения

Глава 9. Договор с ночью. Сарай

Глава 10. Пастор ночи

Эпилог. К болоту

ГЛАВА 1

НОВАЯ ПАСТВА

Тирнейм лежал в складке между двумя грядами холмов, будто кто-то нарочно уронил деревню туда, где солнце появляется поздно, а уходит рано, оставляя долгие голубоватые сумерки — то самое время суток, когда предметы теряют чёткость краёв и разум начинает достраивать недостающее сам. Дорога к деревне шла через ельник, такой густой, что даже днём в нём стоял вечер, а колёса телеги вязли в чёрной, жирной, будто нарочно унавоженной страхом земле.

Тирнейм был старше, чем помнили его жители, — стар-

ше церкви, старше самого имени Вереш, вырезанного на могильных камнях по краю кладбища с такой глубиной, будто резчик боялся, что буквы сотрутся раньше времени. Люди здесь рождались, женились и умирали в тех же домах, где рождались, женились и умирали их деды, и эта неподвижность, это упрямое нежелание меняться делали деревню похожей на камень, вокруг которого давно вырос мох: снаружи мягко, изнутри твёрдо, как кость. Сорок с небольшим дворов, колодец на площади, кузница, мельница у ручья, церковь на пригорке — и лес со всех сторон, обступивший Тирнейм так плотно, что казалось, будто сама земля с трудом удерживает деревню от того, чтобы её не поглотили корни.

Ещё до того, как здесь появились первые дворы, эта земля, по слухам, знала другие имена, произносимые на языках, давно истлевших вместе с теми, кто на них говорил. Пастухи, пасшие овец на дальних холмах, иногда натыкались на камни, вросшие в землю под неправильными, режущими глаз углами, — слишком правильными, чтобы быть случайностью природы, и слишком чуждыми, чтобы приписать их человеческой руке в привычном понимании этого слова. Церковь, появившаяся здесь на два века позже первых дворов, встала на холме не случайно: старики говорили, что именно оттуда лучше всего было «видно, если что пойдёт не так», — хотя никто уже не помнил, что именно должно было пойти не так и откуда взялась эта тревожная, въевшаяся в самый выбор места привычка следить.

Первую неделю в Тирнейме Михаил и Марья провели, устраивая дом пастора так, как устраивают жильё люди, ещё не знающие, надолго ли задержатся на новом месте. Марья выбелила стены кухни, выбила из тюфяков многолетнюю пыль, развесила по окнам пучки полыни — не столько от нечисти, сколько от моли, хотя деревенские кумушки, увидев это, понимающе закивали, приняв обычную хозяйственную привычку за защитный ритуал. Михаил разобрал церковные книги, заново переплёл рассыпающийся требник, починил своими руками расшатанную кафедру — работа, в которой находил редкое, почти забытое за месяцы подготовки к переезду спокойствие.

По вечерам, когда усталость наконец брала верх над тревогой, они всё ещё умели смеяться вместе — над кривым дымоходом, который упрямо дымил в комнату при южном ветре, над петухом соседа, певшим не в лад ни утру, ни вечеру, над собственной неуклюжестью в незнакомом хозяйстве. Марья позже будет вспоминать эту первую неделю как последнюю, когда Тирнейм ещё казался просто новым, непривычным местом, а не ловушкой, медленно смыкающейся вокруг них обоих.

Тирнейм встретил их не колоколом, а собачьим лаем — низким, рваным, тем особым лаем, каким собаки встречают не чужих людей, а нечто худшее. Псы здесь чуяли приезжих раньше людей, а люди доверяли псам больше, чем собственным глазам, и, как вскоре узнает Михаил, у этого доверия

были веские, вымоченные в крови причины.

Марья заметила это сразу — не сам лай, а то, как быстро он оборвался, будто кто-то невидимый прошёл по улице и одним взглядом заставил собак замолчать. Михаил — нет. Он смотрел на покосившуюся церковь, на её просевший шпиль, на дранку крыши, топорщившуюся, как перья на загривке испуганной птицы, и уже мысленно чинил её, прикидывал, сколько досок понадобится и где достать гвозди, не понимая, что в этой деревне сначала надо чинить не крыши, а страх, — а страх, в отличие от досок, не продаётся на ближайшем торгу.

Позже Михаил будет уверять себя, что не помнит этой паузы: телега остановилась, лошади фыркали, пар от их дыхания повисал в воздухе неподвижными облачками, и целую минуту — может, дольше — никто не произнёс ни слова. Но паузы помнят нас лучше, чем мы их: именно в них человек выбирает, кем станет, и Михаил, сам того не зная, уже сделал первый шаг по дороге, которая годы спустя приведёт его к дымящемуся сараю с факелом в руке.

В первый вечер после приезда, пока Михаил разбирал сундуки с книгами, Марья обошла дом пастора — низкий, вросший в землю, пахнувший мышами и старым воском — и нашла под каждым окном маленькие узелки: соль, свалявшуюся серую шерсть, сушёный чеснок, потемневший от времени, и по одному детскому зубу, положенному отдельно, будто в этом жесте была своя, особая арифметика жертвы.

Она собрала находки на ладонь — они лежали там лёгкие, сухие, почти невесомые, — и долго смотрела на них в свете единственной свечи, прежде чем показать Михаилу.

Марья: — Это не обереги. Это просьбы.

Михаил: — Просьбы к кому?

Марья: — К любому, кто согласится услышать. Когда люди не уверены, что Бог смотрит в их сторону, они подкупают всё остальное.

У старого колодца, вросшего замшелым срубом в утоптанную землю, лежала глиняная фигурка без лица — обожжённая, растрескавшаяся, с обрубками вместо рук. Дети обходили её стороной, делая крюк по грязи, лишь бы не ступить рядом; взрослые делали вид, что не видят, отводя взгляд с той профессиональной небрежностью, с какой отводят глаза от чужого горя. Марья подняла фигурку платком, стараясь не коснуться её голой кожей, а Михаил заметил, как Пётр Салкай — сухой, узкоплечий человек с приходской книгой под мышкой — сразу потянулся к перу, будто уже готовился записать этот момент как улику против кого-то.

Марья: — Здесь бояться не леса. Здесь бояться сказать, кто ходит из леса.

Михаил: — Мы приехали служить, а не собирать сказки.

Лука: — В Тирнейме сказки иногда хоронят людей раньше могилы.

Михаил: — И ты тоже веришь этому?

Лука: — Я верю воротам, отец. Их запирают не от ветра.

Лука говорил без вызова, глядя куда-то мимо плеча Михаила, туда, где темнел лес; от этого его слова звучали убедительнее любой проповеди. Михаил впервые ощутил — не понял ещё, но именно ощутил, кожей, тем древним звериным чутьём, которое цивилизация не до конца выжгла даже из пасторов, — что в Тирнейме страх не вспыхивает, а передаётся по наследству, вместе с домом, землёй и фамилией Вереш, точно так же, как передаётся форма носа или цвет глаз.

Так первые знаки — узелки под окнами, фигурка без лица, взгляд старосты — постепенно сложились в неуютную картину, которую Михаил ещё пытался назвать деревенской привычкой, суеверием необразованных людей, живущих слишком близко к лесу и слишком далеко от города, где вера подкреплена каменными стенами собора.

Много позже, перечитывая приходские книги своего предшественника, отца Ионы, служившего в Тирнейме до него, Михаил найдёт запись пятнадцатилетней давности, сделанную дрожащим, торопливым почерком, совсем не похожим на аккуратные строки Петра: «Пропала Мила, дочь пастуха. Найдена через неделю у ручья, сложены руки, на шее следы. Люди говорят про волка. Я говорю Богу: если Ты слышишь, скажи мне, отчего волк всякий раз выбирает самых тихих и самых красивых». Запись обрывалась там же, без продолжения, будто у отца Ионы не хватило то ли чернил, то ли смелости писать дальше, — а через два месяца

после этой записи в книге появилась совсем другая рука, выводившая уже знакомым Михаилу аккуратным, каллиграфическим почерком: почерком молодого Петра Салкая, только-только унаследовавшего должность писаря.

Тогда, в первую неделю в Тирнейме, Михаил ещё не подозревал о существовании этой записи, спрятанной в самом конце ветхого тома, который он ещё не успел толком пролистать. Но сама деревня, кажется, уже помнила ту историю телом, а не разумом — в том, как женщины крестились у ручья, как мужчины избегали лишний раз упоминать имя Милы, как Домна, стоило Марье завести разговор о прошлых бедах, всякий раз меняла тему с такой скоростью, что это само по себе становилось ответом.

Михаил: — Они ждут от меня чудес, а я привёз только молитвы.

Марья: — Молитва не хуже, если к ней приложить глаза.

Михаил: — Ты опять про их знаки?

Марья: — Я про их лица. Они боятся не нас, а того, кто уже здесь.

Михаил: — Ты видишь врага в первый день?

Марья: — Я вижу дверь, которую все закрывают изнутри.

С этого дня Тирнейм перестал быть для Михаила приходом на карте, аккуратно обведённым чернилами в консистории. Деревня стала живым свидетелем — упрямым, пугливым, хранящим под половицами и в узелках у окон память о вещах, которые церковные книги называют суевериями, а

сами жители называют попросту выживанием. Пётр Салкай впервые показался не помощником, а человеком с лишним ключом — ключом от дверей, о существовании которых Михаил пока даже не догадывался.

Марья слышала не только слова. Она слышала, как за каждым словом деревенских жителей щёлкает маленький засов, отделяя её от мужа ещё на толщину одной доски — той самой доски, из которой в этих краях сколачивают гробы и заборы, отгораживающие живых от мёртвых, а знающих от незнающих.

В её голосе не было угрозы. Только усталость женщины, которая слишком долго тащила правду одна, по грязи, по колеям разбитой дороги, и уже начинала подозревать, что донесёт эту ношу в одиночку до самого конца.

Михаил взял один узелок двумя пальцами, словно боялся испачкаться, будто в свалявшейся шерсти и щепотке соли таилась зараза более опасная, чем чума.

Михаил: — Мы снимем это утром. Приход не должен выглядеть как логово знахарки.

Марья: — Не снимай сразу. Сначала спроси, кто положил.

Михаил: — Ты предлагаешь мне уважать суеверие?

Марья: — Я предлагаю не ломать костыль, пока не научил человека ходить.

Эта фраза задела его, но он промолчал, чувствуя, как в груди поднимается тупая, знакомая обида — не на жену, а

на саму деревню, которая с первого часа отказывалась быть той простой, благодарной паствой, какую он себе воображал в долгой дороге сюда. В дороге он представлял, что будет для деревни опорой, крепкой каменной стеной, к которой можно прислониться; Марья же говорила так, будто опорой иногда становится даже кривой, грязный предмет, если его держит испуганная рука, — и в этом было куда больше правды о Тирнейме, чем во всех проповедях Михаила вместе взятых.

Ночью, когда дом наконец затих и за окном остался только шум ветра в мокрых елях, к ним постучала девочка лет десяти — тощая, в чужом, не по размеру, платке. Она принесла миску молока, ещё тёплого, парующего в холодном воздухе сеней, и сказала, что это «для новой госпожи, чтобы лес её не забрал». Марья присела перед ней на корточки, так, чтобы их глаза оказались на одном уровне.

Марья: — Как тебя зовут?

Девочка: — Савина. Но мама говорит не называть имя после заката.

Михаил: — Имя не может причинить вред.

Савина: — Может, если его запишут не те.

После этих слов девочка убежала в темноту так быстро, будто боялась, что за ней уже наблюдают, оставив миску молока стоять у порога — маленький белый остров в чёрной луже теней. Михаил хотел рассмеяться, списать всё на детскую фантазию, но смех не вышел, застрял где-то в горле сухим комом. В Тирнейме даже дети говорили так, будто зна-

ли правила игры, которую взрослые тщательно скрывали от приезжих, — правила, за нарушение которых здесь, судя по всему, платили не штрафом, а кровью.

Марья взяла миску и поставила её в дом, на подоконник, туда, где утром её найдёт свет.

Михаил: — Ты всё-таки веришь им?

Марья: — Я верю, что страх никогда не появляется из пустого места.

Михаил: — А я верю, что пастор должен это место заполнить.

Марья: — Только не собой, Миша. Иначе, когда тебя не станет, страх вернётся ещё голоднее.

У церкви их встретил староста Лука Ставр — сухой, седой, с лицом человека, который привык сначала смотреть на землю, потом на руки гостя, и только после этого, будто нехотя, — в глаза, словно за долгие годы разучился ждать от чужих взглядов ничего хорошего. Фамилию Ставр носили в Тирнейме ещё со времён, когда деревня платила подать не деньгами, а людьми, и старики шептались, что первый Ставр в роду был не старостой, а именно той платой — единственным, кого отпустили обратно.

Лука: — Отец Михаил?

Михаил: — Да.

Лука: — Добро пожаловать, коли так можно сказать.

Михаил: — Можно. Дом Божий должен быть открытым.

Лука взглянул на покосившуюся церковь, на дырявую

крышу, сквозь которую, наверное, было видно звёзды, на перекрещенные красные нити, натянутые у дверей крест-накрест, будто деревенские женщины пытались не пустить внутрь что-то определённое, а не абстрактное зло вообще.

Лука: — Дом-то Божий. Только ночь сюда тоже входит.

Марья шагнула ближе, разглядывая узел на нитях — тугой, профессиональный, завязанный рукой, которая делала это не в первый раз.

Марья: — Кто завязал нити?

Лука: — Женщины. От тех, кто ходит после петухов.

Михаил: — После петухов никто не ходит.

Староста поднял глаза, и впервые за разговор в них не было ни хитрости, ни притворства — только усталость человека, который слишком много раз хоронил соседей, чтобы спорить с приезжим о теологии страха.

Лука: — У нас ходят.

Михаил: — Расскажи мне тогда, Лука, откуда пошёл дом Вереш. Раз уж деревня так уважает эту фамилию, я должен знать, кому кланяется мой приход.

Староста долго молчал, будто взвешивал, стоит ли отдавать чужаку историю, которую в Тирнейме рассказывали только у зимнего очага, шёпотом, чтобы не слышали дети.

Лука: — Говорят, первый Вереш пришёл сюда с гор в голодный год, когда в деревне не осталось ни зерна, ни скота, ни надежды дожить до весны. Он предложил старосте — моему прапрадеду, если верить бабке, — сделку: он накормит

деревню, а деревня взамен отдаст ему землю от реки до леса и обещание не задавать вопросов о том, откуда берётся еда в его погребах. Люди согласились. Люди всегда соглашались, отец, когда выбор стоит между вопросом и голодом.

Михаил: — И что случилось потом?

Лука: — Деревня выжила. Вереш разбогатели. А через несколько лет начали пропадать девушки — сперва одна в несколько лет, потом чаще. Каждый раз находился удобный виновный: волк, мор, залётный бродяга. Каждый раз деревня хоронила виновного и жила дальше, потому что жить дальше было легче, чем спросить, куда в самом деле пришла первая зима у Вереш еда, которой хватило на всех.

Михаил слушал эту историю с тем же чувством, с каким слушал бы сказку у чужого костра, — интересно, тревожно, но всё ещё далеко от него самого. Он ещё не знал, что годы спустя сам станет частью этой же сделки, только с другой стороны стола.

Ночь за окном не сгущалась постепенно, как это бывает в городах, где сумерки размазаны фонарями и голосами запоздалых прохожих. Она просто подходила ближе, шаг за шагом, как больной родственник, которого все стыдятся, но никто не может выгнать из дома — родственник, чьё присутствие в комнате чувствуется даже с закрытыми глазами.

Илона Вереш появлялась в разговорах так, как появляется холод в комнате: никто не видел, откуда он вошёл, но все поправляли ворот, будто сквозняк тянуло из самой земли. О

ней говорили уважительно, почти благодарно, склоняя голову при упоминании фамилии Вереш, и именно это настораживало Марью больше всего. Благодарность, смешанная со страхом, всегда пахла старой сделкой — такой, условия которой давно забыты, но проценты по ней всё ещё исправно платятся.

Готовясь к первой проповеди, Михаил познакомился с Петром Салкаем ближе, чем ему бы хотелось задним числом. Писарь пришёл в дом пастора с утра, аккуратно одетый, с идеально расчёсанными волосами, и предложил свою помощь в подготовке — не проповеди, а списка тех, кто обычно посещает службы, чтобы «отец Михаил знал, к кому обращается».

Пётр Салкай: — Староста Лука приходит всегда, но садится у самой двери — по привычке, оставшейся с войны, хотя войны давно нет. Кузнец Дамьян слушает внимательно, но верит только тому, что можно потрогать руками. Мельник Мирон приходит ради жены, не ради себя. А Ханна... Ханна приходит, чтобы найти, с кем не согласиться. Ей нужен спор больше, чем спасение.

Михаил: — Ты знаешь всех так подробно?

Пётр Салкай: — Это моя работа, отец. Знать — не грех, если знание служит порядку.

Михаил тогда воспринял это как похвальное усердие, редкое качество для деревенского писаря, и мысленно отметил, что ему повезло с помощником. Он не заметил — а если бы

Марья была рядом, непременно заметила бы, — с какой лёгкостью Пётр перечислял не только привычки прихожан, но и их слабости, будто держал в голове не список посетителей, а перечень дверей, каждая из которых была уже чуть приоткрыта для того, кто знал, куда толкнуть.

Первая проповедь собрала почти всю деревню — больше людей, чем помещалось на скамьях, так что задним рядам пришлось стоять у стен, кутаясь в тулупы, хотя внутри было натоплено. Мужчины стояли у стены, скрестив руки на груди, женщины — ближе к двери, будто заранее выбирали путь к бегству на случай, если проповедь окажется недостаточно сильной, чтобы удержать снаружи то, что пряталось в лесу. Михаил говорил о порядке, о грехе, о том, что страх нельзя кормить солью и травами, — и голос его гулко отдавался под сводами, полными пыли и запаха свечного воска.

Михаил: — Не лес нам судья, а Бог, — произнёс он.

Из задних рядов донеслось:

Ханна: — А если Бог далеко, отец?

Марья узнала голос Ханны — вдовы с узкими плечами и жёстким, немигающим взглядом человека, который давно перестал бояться сказать вслух то, что остальные боятся даже подумать.

Михаил опустил руки на кафедру; под ладонями холодело старое, отполированное временем дерево.

Михаил: — Бог не бывает далеко.

Ханна: — Тогда почему Анку два дня назад слышали у

ручья, а нашли только её платок?

Дамьян: — Почему у кузнеца корова родила мёртвого телёнка?

Кузнец Дамьян Ковач — широкоплечий, с обожжёнными от горна руками, которые он машинально сжимал в кулаки, — фамилию унаследовал от деда, тоже кузнеца, и в Тирней-ме давно перестали замечать, что она означает то же ремесло, каким кормилась вся семья: так плотно фамилия и профессия срослись в один узел.

Савко: — Почему у кладбища по ночам свет?

Церковь загудела, как растревоженный улей. Это был уже не разговор, а многоголосый спор страха: каждый бросал в общий котёл свою боль, своё непроговорённое горе, и котёл закипал прямо на глазах, грозя выплеснуться через край деревянных стен.

Михаил поднял руку, требуя тишины, но голос его прозвучал тоньше, чем ему хотелось бы.

Михаил: — Я выслушаю каждого. По одному.

Марья: — Ночь не ходит по одному.

Он услышал. И впервые за день задержал взгляд на жене не как на союзницу, скреплявшую его слова кивком одобрения, а как на человека, который произнёс слишком точную фразу при свидетелях, — фразу, которую теперь будут пересказывать по домам, добавляя каждый раз новые подробности.

Приходская книга в эти дни стала для Михаила второй

Библией — толстый том в кожаном переплёте, пахнущий чернилами и мышами. Он вписывал туда имена умерших, пропавших, подозреваемых и тех, кто слишком быстро отвёл глаза при разговоре, будто одно только направление взгляда могло служить доказательством вины. Рядом с каждым именем он оставлял короткую пометку: «молчал», «дрожал», «говорил лишнее», «молилась без слёз». Позже эти слова будут казаться ему доказательствами, весомыми, как булыжники, но тогда, в первые недели, они были всего лишь следами его собственной тревоги, записанной аккуратным пасторским почерком, — тревоги, которая с каждым днём всё меньше нуждалась в реальных фактах, чтобы разрастись.

В ту первую неделю, лёжа без сна рядом с Марьей, Михаил часто вспоминал, как всё началось: не Тирнейм, а они сами, вдвоём. Он познакомился с ней пять лет назад в приходе святого Власия, куда она приходила помогать при лазарете, — тощая, немногословная девушка с исцарапанными руками травницы, которую старшие сёстры за глаза называли «дикаркой», потому что она разговаривала с бродячими собаками ласковее, чем с людьми. Михаил тогда был молодым дьяконом, ещё не обременённым ни саном, ни сомнениями, и его подкупило именно то, что позже станет их полем боя: она умела видеть боль там, где остальные видели грязь.

Их обвенчали в тот же год, тихо, без пышности, потому что за душой у обоих не было ничего, кроме упрямой веры — у него в Бога, у неё в то, что руки способны испра-

вить больше, чем молитвы. Первые три года они прожили в маленьком приходском доме на окраине города, где Марья лечила соседских детей от золотухи и колик, а Михаил писал проповеди, которые с каждым годом звучали всё увереннее. Никто из них тогда не подозревал, что вера и умение когда-нибудь начнут спорить друг с другом, а тем более что спор этот однажды придётся решать не словами, а факелом.

В Тирнейм их направили не как награду, а как испытание: епархия давно не могла найти священника, который согласился бы ехать в приход с дурной славой, а молодой Михаил, честолюбивый и ещё не научившийся бояться, вызвался сам, надеясь, что трудный приход станет ступенью к более почтенному месту. Марья поехала с ним без единого возражения, хотя старая знахарка, учившая её травам, перед самым отъездом взяла её за руку и сказала слова, которые Марья вспомнит только через много недель, стоя у порога дома без зеркал: «Там, куда ты едешь, дитя, любят не тех, кто светит, а тех, кто гасит чужой свет чужими руками. Береги своего мужа не от леса. Береги его от людей, которые скажут ему, что он прав».

В ту первую ночь, когда дом наконец затих, Михаил лежал без сна рядом с уснувшей Марьей и слушал, как за стеной, там, где начинался ельник, что-то — ветер, зверь, а может, просто усталость после долгой дороги — раз за разом задевало нижние ветви, будто пробовало на вес тишину дома пастора, прежде чем решить, стоит ли она внимания. Он

не разбудил жену. Не потому, что не боялся, а потому, что страх, признанный вслух в первую же неделю на новом месте, казался ему хуже самого звука за стеной, — а Михаил, ещё не знавший, во что превратится его гордость в этих краях, уже начинал путать молчание со смелостью.

Марья не спала тоже — только дышала ровно, притворяясь спящей, потому что и ей было что скрывать в ту ночь: не звук, а само чувство, старое, звериное, подсказывавшее, что дом без зеркал на холме над деревней уже знает об их приезде — и, кажется, рад ему больше, чем следовало бы.

ГЛАВА 2

ДЕВУШКА У РУЧЬЯ. ТРАВА ПОД ЯЗЫКОМ

Мёртвые девушки не должны выглядеть так спокойно. Это первая мысль, пришедшая Марье в голову, когда она увидела Анку у воды — та лежала на плоских серых камнях, будто уснула во время купания, а не была убита. Вторая мысль была хуже: спокойствие на лице покойной иногда означает не мир, а то, что человек успел понять правду в последние секунды жизни и больше не мог от неё отвернуться, даже в смерти.

Утро выдалось из тех, что в Тирнейме называли «стеклянными»: воздух был таким прозрачным и хрупким, что каждый звук — плеск воды, скрип телеги, далёкий стук топора — казался чуть более громким, чуть более отчётливым, чем обычно, будто сама тишина решила ничего не пропустить.

Именно в такое утро, когда мир особенно ясен и особенно незащищен, деревню и настигла первая смерть, и позже многие будут вспоминать эту стеклянную ясность как дурной знак, хотя в то утро никто ещё не связывал прозрачный воздух с тем, что лежало у воды.

Ручей журчал бодро, почти весело, перекачивая мелкие камешки по дну, играя утренним светом на ряби. Такие звуки хуже крика: они напоминают, что мир продолжает идти своим чередом, безразличный и равнодушный, даже когда кто-то лежит на холодных камнях с синеватыми пятнами на шее и уже не может назвать своего убийцу.

Каждая деревня хранит общий сон, спрятанный под повседневностью, как уголь под пеплом костровища. В Тирнейме этот сон был о костре: никто не признавался в этом вслух, но все — от мала до велика — заранее знали, куда потащат того, кого назовут виновным, знали дорогу к сараю с такой же уверенностью, с какой знали дорогу к колодцу.

Перед тем как Анку унесли, Марья попросила оставить её на берегу ещё на несколько минут. Мужчины возмущались, переминаясь с ноги на ногу: мёртвых надо быстрее нести к церкви, пока душа не заблудилась между водой и дорогой, — так говорили здесь испокон веков. Марья не спорила. Она просто сняла платок, накрыла лицо девушки от чужих любопытных глаз и начала смотреть на землю — медленно, методично, так, как смотрят на страницу книги, написанную на незнакомом, но угадываемом языке.

Михаил: — Что ты ищешь?

На берегу ручья, чуть в стороне от тела, там, где трава была примята не ногами, а чем-то более осторожным, нашлась пуговица из дорогого чёрного сукна — гладкая, тяжёлая, явно городской выделки. Она лежала не в грязи, а на плоском камне, будто её оставили специально, как визитную карточку убийцы, слишком самоуверенного, чтобы бояться улики. Марья не назвала находку уликой вслух, но Мирон Жерновой, отец Анки и хозяин деревенской мельницы, — грузный, медлительный человек, чьи руки всю жизнь пахли мукой и застарелым потом, — увидел, как изменилось её лицо, — и это изменение он запомнит надолго.

Марья: — Пуговица не от её платья. Анка никогда не носила такого сукна.

Михаил: — Ты знала её?

Ружа: — Все знали Анку. Никто не знал, почему она стала кому-то нужна мёртвой.

Михаил: — Нужна?

Ружа: — Мёртвых тоже используют, отец.

Ружа после этих слов замолчала и посмотрела на Мирона долгим, тяжёлым взглядом. В их молчании было больше сведений, чем во всех криках у ручья вместе взятых. Михаил слышал только горе отца — резкое, животное, выплёскивающееся наружу без слов; Марья же слышала осторожность людей, привыкших выживать рядом с сильными мира сего, привыкших держать язык за зубами даже над телом

собственного ребёнка.

К вечеру смерть Анки уже перестала быть только семейным горем и стала делом всей деревни — люди собирались кучками у колодца, шептались, замолкали при появлении чужих, и в этом шёпоте уже рождались первые имена подозреваемых.

Михаил: — Анку надо похоронить до заката.

Марья: — Сначала надо понять, почему её положили как послание.

Михаил: — Мёртвым нужен покой.

Марья: — Живым нужна правда, иначе следующая девушка уже выбрана.

Она не просила веры вслепую. Она просила, чтобы он хотя бы посмотрел туда, куда она указывала, а не туда, куда указывала деревня, охваченная паникой и жадой простого объяснения.

Михаил: — Ты пугаешь людей.

Марья: — Нет. Я называю то, что их уже пугает.

После смерти Анки каждый в деревне выбрал себе удобного зверя, за которого можно спрятаться от неудобной правды. Одни искали волка — существо, знакомое, понятное, укладываемое в старые сказки. Другие искали ведьму — ещё удобнее, потому что ведьму можно найти среди соседей и сжечь. Марья же искала руку, которая уложила тело слишком аккуратно, слишком продуманно для дикого зверя, — и это одиночество поиска уже начинало отделять её от му-

жа, как трещина отделяет два куска одного и того же камня.

У колодца на следующее утро женщины собрались раньше обычного, будто вода сама по себе стала поводом для сбора, хотя на самом деле всем нужны были не вёдра, а чужие уши. Марья, проходя мимо с пустым ведром, невольно расслышала обрывки разговора, оборвавшегося при её появлении лишь наполовину — достаточно, чтобы понять: её уже обсуждали, но недостаточно тихо, чтобы скрыть это.

Голос из толпы: — Говорят, она держала мёртвую за руку голыми пальцами.

Другой голос: — А что госпожа Вереш? Она вообще приходила проведать семью мельника?

Третий голос: — Госпожа Вереш никогда не ходит вниз. Это вниз ходят к ней.

Смех, короткий и нервный, прокатился по кругу женщин, но тут же стих, будто каждая вспомнила одновременно, что смеяться сейчас — почти кощунство. Марья задержалась у сруба колодца дольше, чем требовалось, набирая воду медленно, прислушиваясь.

Женщина в тёмном платке: — А я скажу: не было бы новых людей — не было бы и новой смерти. Анка жила спокойно, пока не приехал отец Михаил.

Ружа, услышав это от соседнего двора: — Замолчи, Стана. Мою дочь убили не письма пастора.

Стана осеклась, покраснела, но не отступила до конца.

Стана: — Я не про письма, Ружа. Я про то, что новая

метла всегда поднимает старую пыль.

Марья ушла от колодца с полным ведром и тяжёлым чувством, что деревня уже расколота на невидимые линии — не по правде и лжи, а по тому, кому какая версия удобнее для сна.

Самое страшное в чудовищах — не клыки. Клыки честны: они рвут и убивают без притворства. Страшнее то, что рядом с настоящим чудовищем люди вдруг начинают говорить особенно уверенным голосом, находя простые ответы на сложные вопросы, — и эта уверенность распространяется по деревне быстрее любой заразы.

Марья: — Несовпадение.

Михаил: — Следы есть. Раны есть. Трава есть.

Марья: — Именно. Слишком много подсказок для одного убийцы.

У воды, чуть поодаль от толпы, стоял Савко — мальчик-сирота лет двенадцати, тощий, в чужой, латаной-перелатаной одежде, который вечно крутился там, где взрослые забывали смотреть вниз, себе под ноги, туда, где обычно и остаются самые красноречивые следы. Он мял в руках шапку и явно хотел что-то сказать, но боялся первым нарушить строй взрослого молчания.

Марья: — Савко, ты видел Анку вчера?

Савко: — Видел, госпожа. Она шла не к ручью. Она шла от ручья.

Михаил: — Ты уверен?

Савко: — У неё подол был мокрый только спереди. Когда идут к воде, мокнет сзади тоже, от травы.

Мирон мельник всхлипнул, зажимая рот ладонью, а Ружа закрыла лицо руками, покачиваясь взад-вперёд, как от зубной боли. Для них эта мелочь была страшнее ран на теле дочери: она означала, что Анка сначала выбралась из воды живой, а потом кто-то вернул её обратно, к смерти, — сознательно, методично, дав ей секунды, чтобы понять происходящее.

Дамьян: — Мальчишка придумывает.

Марья: — Нет. Он смотрит ниже, чем мы. Потому и видит больше.

Михаил почувствовал укол стыда, острый, как заноза под ногтем. Он был пастором, поставленным здесь Богом и епархией, чтобы вести эту деревню, но в этот миг расследование держали в руках женщина и сирота, а мужчины с ножами стояли вокруг тела и требовали простого ответа, потому что сложный ответ делал их беспомощными перед лицом собственного бессилия.

Ружа: — Отец Михаил, найдите того, кто это сделал. Только не отдавайте её слухам.

Михаил: — Клянусь, я не позволю деревне казнить тень вместо убийцы.

Клятва прозвучала твёрдо. Годы спустя Михаил вспомнит эти слова с тем особым отвращением, с каким человек вспоминает собственную клятву, которую сам же и нарушил, —

но тогда, у ручья, он верил в каждое слово.

Пётр Салкай, стоявший чуть позади, опустил глаза к книге. Его перо уже касалось страницы, скрипя по бумаге тихо, почти незаметно. Марья заметила: он записал не клятву пастора, а имя Савко — вывел его аккуратными, ровными буквами, будто уже заносил мальчика в какой-то список, существование которого пока не мог представить себе никто в деревне.

В тот вечер, оставшись в своей комнате один, Пётр достал отдельную тетрадь, не ту, что носил при себе на людях, а другую, спрятанную под половицей, и записал в неё несколько строк убористым, стремительным почерком, совсем не похожим на тот аккуратный, каллиграфический, каким он вёл общую приходскую книгу.

«Жена пастора видит слишком много и слишком быстро. Ребёнок Мирона говорит опасно точно для сироты. Пуговица — моя ошибка, надо было убрать камень до того, как вода спадёт. Госпоже нужно доложить о ткани прежде, чем это сделает кто-то другой».

Он посыпал страницу песком, тем же самым, что Марья позже найдёт на его рабочем столе, дал чернилам высохнуть и спрятал тетрадь обратно под половицу — туда, где, как ему казалось, её не найдёт никто, пока он сам не решит, что пришло время.

Осматривая место уже после первых вопросов, Марья вновь опустилась на колени рядом с телом Анки и заметила,

насколько тщательно оно было уложено у воды — руки скрещены на груди, волосы расчёсаны и уложены поверх плеч, будто кто-то готовил девушку не к убийству, а к погребению по всем правилам.

Михаил опустился рядом с телом с другой стороны. Девушка лежала так ровно, будто её уложили для венчания, а не для похорон. На шее — две небольшие точки, почти незаметные, если не искать специально. В грязи у берега — следы лап, глубокие, отчётливые. На губах — тонкая корочка синего настоя, засохшего, оставившего едва заметный след.

Дамьян: — Волк.

Марья: — Волк не складывает руки на груди.

Дамьян: — Тогда ведьма.

Марья: — Ведьма не оставляет волчьи следы так, чтобы их увидел слепой.

Дамьян сплюнул в траву, глядя на Марью исподлобья.

Дамьян: — Ты много знаешь для жены пастора.

Михаил резко повернулся к нему; в груди закипало что-то похожее на защитный гнев.

Марья: — Следи за языком.

Дамьян: — Я слежу за деревней.

Ружа подняла лицо, мокрое от слёз, оставивших грязные дорожки на щеках.

Ружа: — Отец, скажите мне: она мучилась?

Михаил не успел ответить. Марья уже взяла руку мёртвой девушки — холодную, но ещё податливую — и осторожно

нажала на пальцы, будто прислушиваясь к чему-то, доступному только её собственным чувствам.

Марья: — Да. Но не в конце. В конце ей дали что-то от боли.

Михаил: — Кто дал?

Марья посмотрела на траву у губ Анки — на едва заметный синеватый налёт, который любой другой принял бы за игру света.

Марья: — Тот, кто хотел, чтобы она молчала.

Ветер двигал ставни дальних домов, и каждый удар дерева о раму звучал так, будто дом пытался предупредить хозяев о чём-то, но не знал человеческих слов, чтобы выразить это яснее стука.

Пётр Салкай умел быть незаметным — искусство, доведённое им до совершенства ещё в детстве, когда взрослые не замечали худого мальчика с быстрыми глазами, снующего между лавками. У незаметных людей в деревнях особая власть: им доверяют письма, списки приданого, долговые расписки, жалобы на соседей и последнюю волю умирающих, потому что незаметный человек кажется безопасным, как мебель. Пётр знал, кто с кем спит, кто кому должен, кто боится леса, а кто готов продать чужую тайну за мешок муки. Он не носил оружия. Ему хватало пера — инструмента куда более смертоносного, чем любой нож, потому что перо оставляет следы, которые невозможно засыпать землёй.

В доме мельника, куда набилось полдеревни, говорили

сразу все, перебивая друг друга. Ружа плакала, зажимая рот платком, Мирон клялся, что слышал ночью шаги у воды, тяжёлые, но не звериные, Ханна — вдова с узкими плечами, которую за глаза называли Волчихой, хотя из всех жителей Тирнейма она первой требовала волчьей крови, — уверяла, что видела у Анки тень за плечом ещё неделю назад, а мальчик-сирота Савко Безродный, не помнивший ни отца, ни матери, ни собственной фамилии, твердил, упрямо мотая головой, что девушку звали не из леса, а со стороны дороги, ведущей к поместью.

Михаил: — По одному!

Мирон: — По одному мы тут и умираем, отец.

Марья: — Анка с кем-то встречалась?

Ружа замерла, и в этой паузе было больше правды, чем в любом её ответе.

Ружа: — Нет.

Марья: — Ты ответила слишком быстро.

Ружа: — Моя дочь была честная.

Марья: — Честная девушка тоже может влюбиться.

Марья знала: сейчас важны не доказательства, а то, захочет ли он остаться человеком рядом с ними — рядом с этим горем, слишком настоящим, чтобы его можно было записать в приходскую книгу одной аккуратной строчкой.

Михаил нахмурился. Ему не понравилось, как спокойно жена произнесла это: будто любовь сама по себе была уликой, а не оправданием, — как если бы она уже знала, куда

приведёт это расследование, и заранее готовилась к неприятной правде.

Савко вдруг поднял руку, как в церковной школе, требуя внимания.

Савко: — Она говорила с писарем.

Лука: — С Петром? — переспросил староста, поднимая брови.

Марья: — Он давал ей бумагу.

Пётр Салкай, стоявший у двери, улыбнулся почти без губ — той узкой, механической улыбкой, которая никогда не достигала его глаз.

Пётр Салкай: — Я учил её писать имя. Это теперь преступление?

Михаил: — Нет.

Марья держала взгляд на писаре долго, не отводя глаз, пока он первым не отвернулся.

Пётр Салкай: — Смотря чьё имя она писала.

Анку похоронили на третий день, на маленьком кладбище за церковью, там, где хоронили всех некрещёных не по вине, а по бедности семьи — не заплатить за отдельное место значило лечь у самой ограды, в тени старой ивы, чьи корни, по слухам, тянулись до самой воды. Михаил читал заупокойную службу коротко, скупно, чувствуя на себе взгляды всей деревни, взвешивающие каждое его слово на весах, о существовании которых он ещё не подозревал.

Ружа не плакала на похоронах — слёзы, видимо, кончи-

лись ещё у ручья. Она стояла неподвижно, держа Мирона под руку, и только один раз, когда первая горсть земли упала на крышку гроба, издала короткий, придушенный звук, будто что-то внутри неё оборвалось окончательно.

Марья (тихо, у могилы): — Прости, что не успела.

Она произнесла это не для окружающих, не для Бога даже, а для самой себя — первое из многих подобных извинений, которые ей предстояло произносить в последующие недели над телами тех, кого она не смогла спасти вовремя. Савко стоял чуть в стороне от толпы, как стоял всегда, и Марья заметила, что мальчик держит в руках маленький букетик полевых цветов, уже увядших, — единственное, что у сироты нашлось, чтобы проститься.

Савко (тихо, ей одной): — Она однажды дала мне хлеба, когда никто не видел. Просто так, без причины. Я хочу, чтобы кто-то это запомнил, кроме меня.

Марья: — Я запомню.

После похорон деревня разошлась быстро, почти торопливо, будто боялась задержаться у свежей могилы дольше необходимого. Пётр Салкай задержался последним, аккуратно записывая в книгу время погребения, — и Марья, глядя на его склонённую спину, впервые почувствовала не просто подозрение, а нечто более острое: уверенность, что этот человек находится здесь не для того, чтобы проводить Анку в последний путь, а для того, чтобы закрыть дело, как закрывают счётную книгу в конце торгового дня.

Марья решила не ждать, пока подозрение само подскажет ей следующий шаг. Если тело хранило язык боли, которому она уже начинала верить больше, чем словам живых, значит, стоило поговорить с той, кто знала этот язык дольше и глубже, чем кто-либо в Тирнейме, — со старой Домной, к которой деревня ходила за родами и травами, но о которой предпочитала не упоминать в церкви.

В Тирнейме не было пустых мест. Даже пустые лавки у церкви хранили тепло сплетен, сказанных утром за спиной соседа и отравивших вечер тому, о ком говорили.

Марья добиралась до дома Домны через торговую площадь, где по субботам собирался небольшой рынок — три-четыре телеги с зерном, лоток с солью и железом, старуха, продающая нитки и пуговицы. В обычный день это было единственное место в Тирнейме, где деревня выглядела почти обыкновенной, почти счастливой: дети гонялись друг за другом между рядами, кто-то торговался громко, для виду, кто-то смеялся над свежей шуткой. Но и здесь, приглядевшись, Марья видела трещины: продавщица пуговиц старалась не смотреть в сторону дороги к поместью, будто сам взгляд в ту сторону мог накликать беду; мужчины у телеги с зерном понижали голос, когда речь заходила о прошлой неделе, и снова повышали его, стоило теме смениться на погоду или урожай.

Продавщица пуговиц (вслед Марье): — Госпожа, купите нитку для берега. Красную. Не пожалеете.

Марья покачала головой, вежливо отказавшись, и старуха, не обидевшись, тут же понизила голос почти до шёпота:

Продавщица пуговиц: — Хоть говорят, вы и без нитки видите то, что нужно. Дай вам Бог видеть и дальше, госпожа. Только не слишком далеко. Иные, кто слишком далеко видел, потом не могли зажмуриться.

За рынком дорога сужалась и вела к самому краю деревни, туда, где огороды переходили в мокрый луг, поросший осокой и камышом. Там, на границе трёх миров — деревни, леса и дороги к поместью Вереш, — стоял дом Домны Быльницы. Прозвище приросло к старухе так давно, что уже никто не помнил её девичьей фамилии; деревня считала её то ли повитухой, то ли ведьмой, в зависимости от того, кому в тот день было нужно её умение. За долгие годы, прожитые на этом отшибе, Домна научилась читать деревню по звукам, доносившимся снаружи: по тому, как хлопает дверь, можно было угадать, кто пришёл — сосед или беда; по тому, как лает собака, можно было угадать, кто идёт по дороге — чужой или свой.

У Домны было тепло, но это тепло не утешало. Оно напоминало жар у больного ребёнка: вроде бы жизнь, вроде бы движение крови под кожей, а всё равно рядом стоит смерть и терпеливо прислушивается, привалившись плечом к дверному косяку, никуда не торопясь. В доме пахло дымом, парным молоком и сушёными корнями, разложенными по глиняным плошкам. На стенах висели пучки трав, каждый со

своим особым запахом — горьким, сладковатым, пряным, — но ни один не был связан красной нитью, только простой льняной, посеревшей от времени. Марья сразу поняла: Домна не выставляет свою силу напоказ, не нуждается в ярких знаках, чтобы люди её боялись, — её боялись за руки, а не за нити.

Марья впервые подумала, что знание трав опаснее ножа. Нож видно издалека, его блеск предупреждает. Траву можно спрятать под языком, в складке рукава, в добром совете, сказанном слишком поздно, чтобы успеть отказаться, — и никто не заметит подмены, пока не станет слишком поздно.

Домна: — Покажи руки.

В доме Домны пахло сушёной мятой, дымом очага и горькой синей пылью, оседавшей на всех поверхностях тонким незаметным слоем. Михаилу хотелось назвать всё это суеверием, деревенским невежеством, но Марья различала травы так уверенно, как он различал псалмы, — по запаху, по цвету, по едва заметным прожилкам на высохшем листе. Домна молчала, наблюдая за ней прищуренными глазами: она уже поняла, что ученик иногда опаснее учителя, потому что не боится идти дальше.

Марья: — Эта пыль глушит боль. Её дают живым, а не мёртвым.

Михаил: — Значит, её кто-то готовил заранее.

Марья: — Ты говоришь о человеке?

Домна: — О руке. Человеческой или нет — потом узна-

ем.

Домна не пыталась понравиться пастору, не заискивала, не смягчала слов ради его сана. Она говорила с ним как с мальчиком, которого ещё можно удержать от глупости, пока не поздно. Это раздражало Михаила до скрежета зубов, но Марья видела в старухе то, что позднее назовёт последней честной свидетельницей во всей этой истории, — человеком, которому нечего было терять, а значит, нечего было и скрывать.

Михаил: — Твои знания пугают меня больше, чем травы Домны.

Марья: — Потому что знания нельзя благословить крестом?

Михаил: — Потому что я не знаю, где ты им научилась.

Марья: — У женщин, которых мужчины вспоминают только на смертном ложе.

Михаил: — Ты опять ставишь их выше меня.

Марья: — Я ставлю жизнь выше гордости.

Травы раскрывали Марью медленнее, чем прямое признание раскрыло бы любую другую женщину. Она не спорила с церковью открыто, не бросала вызов кафедре; она просто знала, как пахнет боль, и этим тихим, почти невидимым знанием становилась опаснее любой обвиняемой ведьмы, потому что её нельзя было обвинить в чём-то конкретном — только в том, что она видела больше, чем полагалось видеть жене пастора.

Если прислушаться, под обычным шумом деревни — блеянием коз, стуком молотков, детским смехом — всегда работал другой звук, тише и настойчивее: тонкое, терпеливое скребущее ожидание беды, будто где-то под половицами точили нож, готовясь к делу.

Марья: — Зачем?

Домна: — Руки говорят раньше языка.

Старуха взяла её ладони своими сухими, узловатыми пальцами и провела большим пальцем по коже, ощупывая мозоли, шрамы, линии.

Домна: — Ты трогала мёртвую без страха. Это хорошо. Но ты скрыла от мужа, что знаешь травы. Это плохо.

Марья: — Я хотела уберечь его от лишнего подозрения.

Домна: — Мужчин нельзя уберечь от подозрения. Его можно только не кормить.

В этот момент в дверь постучали три раза — медленно, с паузами между ударами, будто стучавший считал что-то про себя. Домна побледнела так, словно кровь вспомнила давнюю дорогу назад к сердцу и хлынула туда вся разом. Она велела Марье отойти за печь и открыла дверь. На пороге стояла Рада, служанка из поместья Вереш. Плащ на ней был дорогой, тёмно-синего сукна, отороченный мехом, но лицо — крестьянское, измученное, с тёмными кругами под глазами, будто она давно не спала по-настоящему.

Рада: — Госпожа просит синюю мятую.

Домна: — У госпожи свои подвалы полны трав.

Рада: — Просит именно твою. Говорит, больные лучше спят от той, что собрана старой рукой.

Домна молча дала ей пучок, стянутый той же простой льняной нитью. Когда дверь закрылась и шаги Рады стихли на дороге, Марья вышла из-за печи, отряхивая юбку.

Марья: — У Илоны есть больные?

Домна: — У Илоны есть комнаты, где люди перестают быть людьми. А больными их называют для приличия.

Марья: — Почему ты молчала?

Домна: — Потому что я стара и ещё нужна деревне живой. Но ты молода, и тебе кажется, что правда слушается тех, кто смелее. Будь осторожна, Марья. Правда в Тирнейме похожа на лекарство: в малой дозе спасает, в большой — убивает.

Травы лечат боль, но не снимают вины с тех, кто дал им правильную дозу в неправильных руках.

В сарае с травами, пропахшем сухим сеном и корой, Марья работала молча: нюхала корни, растирала листья между пальцами, проверяла горечь на самом кончике языка, зная меру каждого движения. Домна наблюдала за ней с той строгой нежностью, с какой смотрят на ученицу, уже умеющую больше, чем безопасно знать в деревне вроде Тирнейма. Михаил стоял у двери, скрестив руки, и впервые понял — не умом, а каким-то более глубоким, тревожным чутьём, — что жена скрывает от него не ложь, а умение, целый пласт знания, к которому у него самого никогда не было доступа.

Марья разложила травы на столе в доме повитухи Домны, раскладывая пучки по цвету и запаху. За окном стемнело, и стекло стало чёрным, непроницаемым, будто вместо привычной деревенской улицы там теперь стояла глубокая тёмная вода, готовая хлынуть внутрь при первой же трещине.

Домна: — Белена, мак, горькая синяя мята. Это не ведьмовство. Это милость, если человек кричит от боли.

Марья: — Анка кричала?

Михаил: — Девочки кричат не только от ножа, Марья. Иногда — от того, что им велели молчать.

Марья взяла сухой листик между пальцами, растирая его, пока в воздухе не поплыл едва уловимый горьковатый запах.

Марья: — Кто у нас умеет смешивать так точно?

Домна посмотрела на дверь, будто проверяя, не подслушивает ли кто снаружи.

Домна: — Я. Ты. Ещё покойная мать Илоны Вереш умела. Но она давно под землёй, если земля вообще держит таких.

Михаил: — Ты боишься назвать Илону?

Домна: — Я боюсь не имени. Я боюсь, что имя услышит хозяйка.

С улицы донёсся стук ставни, резкий и внезапный, хотя ветра не было. Обе женщины замолчали; это молчание прозвучало выразительнее любого ответа, какой могла бы дать Домна вслух.

Марья: — Если Михаил узнает, что я пришла к тебе, он

спросит, почему я скрывала.

Домна: — А ты ответь: потому что мужчины слышат слово «травы» и сразу видят костёр.

Марья: — Михаил не такой.

Домна грустно усмехнулась, показав редкие потемневшие зубы.

Домна: — Пока любит — не такой. А когда испугается, сама увидишь, кто сильнее: любовь или страх.

Марья не удержалась от вопроса, который давно вертелся у неё на языке.

Марья: — Домна, откуда ты знаешь про Илону так много? Ты говоришь о ней не как соседка. Ты говоришь как человек, который платил ей однажды.

Домна не спешила с ответом, перебирая пальцами край фартука, пропахшего сушёными травами.

Домна: — Сорок лет назад у меня была сестра. Красивее меня, добрее меня, глупее меня. Она пошла в поместье на-ниматься в услужение, потому что мать Илоны — тогда ещё не старая госпожа, а молодая, свежая, как майское яблоко, — обещала хорошее жалованье. Сестра вернулась через год. Не той. Она не помнила моего имени, зато помнила, как складывать бельё так, чтобы ни одна складка не сбилась. Я тогда ещё не умела распознавать травы. Я умею теперь. Слишком поздно для неё, вовремя для тебя.

Марья: — Почему ты осталась в Тирнейме, а не ушла?

Домна: — Потому что кто-то должен был остаться и за-

помнить. Уйти легко, Марья. Труднее — стоять на месте и быть живой картой всех могил, которые деревня хочет забыть.

Марья взяла старуху за руку, огрубевшую, в мелких белых шрамах от бесчисленных порезов о стебли крапивы и чертополоха.

Марья: — А твоя сестра?

Домна: — Умерла через два года после возвращения. Тихо, во сне, как будто просто забыла, как дышать дальше. Я иногда думаю: может, это и было милосердием — единственным, какое Вереш вообще умеют дарить.

Свечи горели ровно в доме пастора, но Михаилу всё чаще казалось, что свет не отгоняет тьму, а только делает её края яснее, отчётливее, будто тьма научилась пользоваться светом в свою пользу.

В ту ночь Михаил писал при свечах, склонившись над столом так низко, что воск капал ему на рукав. Чернила расплывались от влажности, рука уставала, но он продолжал, будто дневник мог удержать его разум на верёвке, не дать сорваться в пропасть, которую он уже начинал ощущать под ногами.

«Я приехал учить их не бояться. Но что, если они правы? Что, если зло не в лесу, а в тех местах, где человек чувствует тепло? Господи, я люблю Марью. Почему же каждый её ответ открывает ещё один вопрос?»

Дверь скрипнула, и в комнату вошла тень, тут же ставшая Марьей в свете свечи.

Марья: — Ты не спишь?

Михаил: — Ты тоже.

Она подошла и увидела исписанные страницы, чернила, ещё не высохшие на бумаге.

Марья: — Пишешь обо мне?

Михаил: — Пишу о деле.

Марья: — Я теперь часть дела?

Михаил устало потёр лицо ладонями — под глазами уже наметились тёмные круги.

Михаил: — Ты скрыла травы.

Марья: — Я скрыла не травы, а людей, которых ты ещё не умеешь защищать.

Михаил: — От меня?

Марья: — От твоей должности.

Он встал, отодвинув стул со скрипом. Между ними теперь был только стол, оплывшая свеча и слишком много невысказанного, повисшего в воздухе, как дым от только что задутого фитиля.

Михаил: — Я твой муж, Марья.

Марья: — Вот с мужем я бы говорила до утра. Но сегодня ты смотришь на меня как пастор на исповеди.

Михаил: — А если мне нужна исповедь?

Марья: — Тогда начни с себя.

ГЛАВА 3

ДОМ ВДОВЫ ВЕРЕШ

Прошло несколько дней после той ночи, что закончилась одним-единственным словом «себя», так и оставшимся без ответа, — и Михаил впервые с приезда в Тирнейм поднялся на холм один, без Марьи.

Дом Вереш стоял на склоне, как зуб в десне горы: тёмный, крепкий, ненужный живым, но упрямо не желающий выпадать даже спустя столетия. Даже кони у ворот не ржали, только переступали копытами по каменистой земле, будто боялись разбудить то, что спало под фундаментом, — что-то старое, терпеливое, привыкшее ждать.

Слуги дома — те немногие, что задерживались на службе дольше года, — рассказывали между собой, если рассказывали вообще, что фундамент этот уходит глубже, чем позволяет догадаться сам склон горы, и что в самые тихие ночи, когда ветер стихает совсем, из-под каменных плит нижнего зала доносится звук, похожий на дыхание, — редкое, ровное, слишком большое, чтобы принадлежать человеку или зверю. Никто не проверял, откуда именно исходит этот звук. В доме Вереш быстро учились не проверять многого.

Род Вереш владел этой землёй так долго, что ни один живой крестьянин не помнил, при ком именно фамилия появилась на камне у дороги, обозначавшем границу их владений. Говорили разное: что первый Вереш пришёл с гор, что он был чужеземным лекарем, что он спас деревню от чумы и в благодарность получил всю землю от реки до леса. Дети рассказывали друг другу другую версию, шёпотом, у костра: что

первый Вереш не пришёл, а был здесь всегда, ещё до того, как здесь появились люди, и что дом на склоне вовсе не был построен — он просто был, как гора, как лес, как сама тьма, из которой Тирнейм так и не сумел до конца выбраться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.